



BALTIJAS FORUMS
THE BALTIC FORUM



1989: ДРАМА ОЖИДАНИЙ

ДЕМОНТАЖ КОММУНИЗМА И ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ



Состоявшаяся 31 мая — 1 июня 2019 г. в Юрмале международная конференция **«1989: Драма ожиданий: Демонтаж коммунизма и посткоммунистическое тридцатилетие»** — первое мероприятие масштабного международного проекта «30 лет постсоветской Европы», посвященного тридцатилетию одного из крупнейших событий XX века — распаду коммунистической системы и последовавшему за ним процессу масштабных экономических, политических и социальных изменений на территориях Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.

Проект реализуется по инициативе и при ведущей роли Экспертной группы «Европейский диалог», а также при участии и поддержке Горбачёв-Фонда, Фондов Генриха Бёлля и Фридриха Эберта, Представительства Европейского Союза в России.

Задачей проекта является переосмысление опыта и уроков посткоммунистического транзита в перспективе сегодняшней оптики социальных наук и попытка понимания сегодняшней Большой Европы и Евразии как в значительной мере результата и следствия этого транзита в разнообразии его социальных и политических опытов. Такое понимание, по нашему убеждению, позволит полнее и глубже осознавать те вызовы и кризисы, с которыми сталкивается Большая Европа и ее отдельные страны, а значит — и находить адекватные ответы на них.

Первый этап проекта посвящен 1989 году и тем проблематикам транзита, которые проявили себя особенно отчетливо на этой его стадии. И в Центральной Европе, и в бывшем СССР 1989 год стал кульминацией надежд на мирный и

успешный переход от коммунистической диктатуры к либеральному политическому и экономическому порядку. Собственно, именно этот год в значительной мере и сформировал эти ожидания. В считанные месяцы с июня (победа «Солидарности» на выборах в Польше) по декабрь 1989 г. «коммунистический лагерь» в Центральной Европе перестал существовать. В СССР прошедшие в апреле-мае 1989 г. первые с 1917 г. альтернативные выборы запустили процессы «политического пробуждения» и политическую реформу, переносившую опоры политической власти от партийных к представительным органам. Казалось, что коммунизм складывается как карточный домик.

Как выглядят эти события и сопровождавшая их эйфория ожиданий 30 лет спустя? Чем обернулась невероятная легкость этой внезапной диссипации коммунистических режимов? Зависят ли последующие траектории транзитов от характера и особенностей этой ранней стадии демонтажа коммунизма? И что позволяет нам тридцатилетний опыт транзита сказать о будущем Большой Европы?

В конференции приняли участие ученые, аналитики, общественные и политические деятели из Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Венгрии, Германии, Швеции и Великобритании, что позволило представить и обсудить по-настоящему диверсифицированную картину масштабных социальных и политических процессов, охвативших восток Европы и север Евразии на протяжении последних тридцати лет.

Итоги состоявшейся дискуссии анализирует программный директор проекта «30 лет постсоветской Европы» Кирилл Рогов.

ТРАНЗИТ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ РЕТРОСПЕКТИВЕ



Одной из ключевых тем состоявшейся дискуссии стала констатация нового положения вещей в осмыслении общей траектории посткоммунистического транзита. В середине 2000-х гг. основным трендом здесь был отход от оптимизма ранних 1990-х и концептуализировавшей этот оптимизм «транзитологической парадигмы», предполагавшей, что, хотя и с разной скоростью, но все страны бывшего «восточного блока» и СССР движутся в направлении единой и по сути безальтернативной модели — западной либеральной демократии. В 2000-е гг. набор этих стран распался, в представлениях аналитиков и ученых, на две основные группы: «отличников», по общему мнению, достаточно успешно реализовывавших цели транзита (прежде всего — страны Вышеградской группы, Балтии и в меньшей степени Болгария, Румыния), и «двоечников-троечников», т.е. страны, где переход «не удался», среди которых числились в основном республики бывшего СССР. В центре анализа оказались преимущественно факторы успеха стран первой группы и причины неудач второй и, в особенности, — России.

Сегодня, в конце 2010-х гг., ситуация выглядит принципиально иначе. Большинство стран и территорий, которые считались 10-15 лет назад «отличниками», теперь либо захвачены реверсивным трендом — по крайней мере, частичным отказом от идеалов либеральной демократии, а у власти здесь находятся ее ярые критики (Венгрия, Польша), либо охвачены глубокой фрустрацией (Болгария, Прибалтика, Восточная Германия). Несмотря на успешную институциональную интеграцию в Большую Европу, их население ощущает себя ее глубокой и неуспешной периферией, переживает мощный отток рабочей силы, в особенности молодых и перспективных когорт, и не располагает ресурсами для экономического рывка при том, что уровень жизни здесь остается на порядок ниже, чем в «Европе первого сорта».

С другой стороны, многие из тех стран, которые 10 лет назад были признаны «двоечниками» транзита и стали объектом сурового анализа, вскрывающего причины их неудач, сегодня вовсе не склонны «исправляться» и считать себя «неудачниками», а наоборот, мыслят себя в роли вполне состоятельных примеров альтернативной модели развития и не рассматривают в настоящий момент либеральную демократию как перспективную цель и образец. Как отметил один из участников дискуссии, тридцать лет спустя конкуренция моделей социально-политического развития вновь оказалась на повестке дня. Можно говорить и о том, что в странах, которые 30 лет назад выступали в качестве институциональных образцов для стран транзита, казавшиеся некогда незыблемыми цели и принципы подвергаются атакам и переосмыслению. Это придает данной дискуссии особенную остроту и актуальность.

ДРАМА ОЖИДАНИЙ КАК ДРАМА ПОНИМАНИЙ



Доклад Георгия Сатарова, президента Фонда ИНДЕМ (Москва), а в 1990-е годы политического советника президента Ельцина, «Драма посткоммунистического транзита как источник переосмысления транзита» был посвящён анализу тех «непониманий» процессов социальных изменений, которые являлись источником завышенных и чересчур оптимистичных ожиданий тридцать лет назад.

«Казалось, что задача состоит в том, чтобы просто пересечь из состава, который летит под откос, в состав, который едет в правильном направлении. Что же нас вдохновляло? Абсолютная и ничем не подтвержденная, воспитанная эпохой Просвещения вера в управляемость социальных процессов, которую не поколебали даже трагедии XX века». Важнейшим источником завышенных ожиданий являлся классический легизм — представление, что правильные законы формируют правильные практики, и понимание институтов как результата действия писанных норм. К этому добавлялось «фантастически слабое развитие социологии» и наивное представление о способности социологии общественного мнения разбираться в представлениях и убеждениях людей.

Отражением этих подходов и стали «планы реформ», опиравшиеся на постулаты «Вашингтонского консенсуса». Однако в результате, эта неудача ожиданий, которые обращались в проактивные политики без достаточных для того оснований, анализ ее истоков должен стать и отчасти становится сегодня трамплином в развитии методологии социального знания. Это и должно стать задачей настоящего проекта, считает докладчик.

Андрей Мельвиль, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ (Москва), продолжил методологический *sturm und drang* «опыта непониманий» в докладе «Структуры» и «акторы»: чего не объясняют привычные модели транзита». Отметив, что ожидания 30-летней давности, в том числе, теоретические, опирались на ограниченный и специфический опыт



демократических транзитов в Латинской Америке и Южной Европе, он выделил пять неоправдавшихся ожиданий.

Первое: «демократизация без предпосылок» — представление, что структурные ограничители не так важны, как выбор акторами правильных тактик и стратегий. В результате, сегодня мы видим сложную картину, где просматриваются как успехи «стратегий акторов», так и «реванш структур» (в частности, в феноменах «авторитарного отката»). Все более проявляет себя география структурных ограничений в духе «концептуальной карты Европы» Роккана и, по аналогии с «голубым бананом» в Европе¹, мы можем говорить о «розовом банане» в Евразии — территориях достаточно устойчивого доминирования авторитарных моделей.

Второе ожидание связано с представлением о модернизации, т.е. с представлением о неизбежности политических последствий экономического прогресса. Теперь мы видим «другую модернизацию» — модернизацию без демократии, а с ней — явление нового среднего класса, который не предъявляет спроса на демократию. Третье ожидание связано с верой в значение «правильного институционального дизайна» как ключа к успеху. Опыт показал, что такая стратегия может не срабатывать, порождая «субституты» вместо институтов. С другой стороны, наоборот, совсем иначе выглядит теперь противоположная стратегия — использование паллиативных, транзитных институтов, которая оказывалась в ряде случаев вполне рациональной и даже эффективной.

Четвертая проблема — это проблема одновременности реформ и решения вопросов государственного строительства. В целом, наличие эффективного государства должно предшествовать успешным либеральным реформам, однако, что мы понимаем под эффективностью государства? Борьба за состоятельность государства оборачивается подчас формированием таких институтов, которые не способствуют, а эффективно препятствуют дальнейшим реформам. Они оказываются либо слишком регидны и репрессивны, либо формируют описанную Джоэлем Хэллманом ловушку «ранних победителей», не заинтересованных в продолжении реформ².

Пятое ложное ожидание имело мощный эмоциональный фундамент: это свойственное 1989 г. предположение, что авторитаризм остался в прошлом. Теории предполагали возможность реверса, обратного движения, но эмоционально это не впечатляло и всерьез не рассматривалось. Однако мы с этим столкнулись. Как столкнулись и с опровержением ожидания, что гибридные режимы, сочетающие демократические институты и авторитарные практики,

¹ Rokkan, St., Urwin, D. *Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries*. (Sage, 1983); Brunet, Roger (1989). *Les villes européennes: Rapport pour la DATAR* (in French). Montpellier: RECLUS.

² Hellman Joel (1998). *Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions* // *World Politics*. Vol. 50. № 2. P. 203-34

обречены дальше эволюционировать в ту или иную сторону. Гибриды проявили изрядную устойчивость и жизнеспособность, и никуда не эволюционируют.

В ходе дискуссии Андрей Мельвиль также высказал сомнение в возможности единой теории транзита, чему посвящено было немало усилий исследователей прежних поколений. Действительно, само целеполагание



посткоммунистического транзита и его место в истории наций, государств и обществ оказалось принципиально разными. Так, эксперт по странам Центральной Азии и СНГ **Аркадий Дубнов** привлек внимание к тому, что общая рамка «транзита», применяемая к странам Восточной Европы, Балтии и даже России и Украине, плохо подходит для стран Центральной Азии, не имевших досоветской государственности и обретавших ее первичные элементы именно в качестве союзных республик СССР. Это, с одной стороны, придавало иную легитимность местным советским элитам, а с другой, разрушение советско-коммунистической легитимности ставило эти элиты перед угрозами

социетальных расколов совершенно иного рода, чем те, которые предполагались стандартными теориями транзита. Постсоветский персоналистский авторитаризм имел здесь дело с угрозой жестоких клановых и племенных столкновений, способных спровоцировать масштабные гражданские конфликты, как это случилось в Таджикистане.

ДРАМА ТИПОЛОГИЙ И ТИПОЛОГИЯ ДРАМ

Каждое новое посткоммунистическое десятилетие приносит нам новые и часто непредвиденные знания о характере длительных траекторий посткоммунистических обществ и, соответственно, заставляет переосмысливать типологию транзитов в контексте этого нового знания.

Линию интеллектуальной критики прошлых представлений о транзите продолжал доклад **Андрея Рябова**, главного редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения», «Особенности межсистемных трансформаций на постсоветском пространстве».



Докладчик выделил факторы, сыгравшие важную роль в транзите, которым не уделялось прежде достаточного внимания. Во-первых, это характер делегитимации коммунистического режима. В странах Центральной и Восточной Европы, а также Балтии коммунистический режим воспринимался как привнесённый, и сохранялась память об опыте сопротивления ему (восстания 1953, 1956 гг. в ГДР и Венгрии, 1968 г. в Чехословакии, опыт «Солидарности» в Польше). На этом фундаменте и формировалась альтернативная, национально-демократическая система ценностей.

В СССР легитимность режима базировалась на глубоко укорененном представлении о его эффективности и экономической состоятельности. Политика гласности подорвала это основание, популяризуя представление о большей эффективности либерально-демократической модели. Это и стало инструментом де-легитимации режима. Но, в результате, демократические ценности приобретали здесь не ценностный, а инструментальный характер. Когда в процессе трансформации ее издержки привели к де-валоризации этих ценностей, авторитарные ценности вновь стали осознаваться как приемлемые, если связанная с ними модель социального устройства позволяет решать проблему «общего блага». Это и стало основанием ценностного «патерналистского ренессанса».

Второй важнейший фактор связан с характером приватизации. На постсоветском пространстве были реализованы две противоположные стратегии. Первая — ускоренная приватизация крупных активов, цели которой были не столько экономическими, сколько политическими: создание класса собственников, способных не допустить реставрации. Вторая, наоборот, была направлена на сохранение этатистского характера постсоветских экономик и

подразумевала сохранение национальных активов в государственной собственности.

Однако в политэкономическом смысле обе они привели к одному и тому же результату: формированию института «власти-собственности». Именно этот институт начинает форматировать политический процесс и определяет экономический обмен рамками перераспределения трех видов ренты. Борьба за ренту ведет к тому, что политические процессы обретают циклический характер — борьба не между различными проектами будущего, а между разными группами за управление рентами. В итоге, формирование патронажно-клиентеллистской модели в политике и системная коррупция ведут к дефициту развития.

Проблематика типологии посткоммунистических транзитов была подхвачена фундаментальным докладом **Балинта Мадьяра**, профессора Центрально-Европейского Университета, «**Траектории посткоммунистического развития**». Концентрация внимания преимущественно на политических

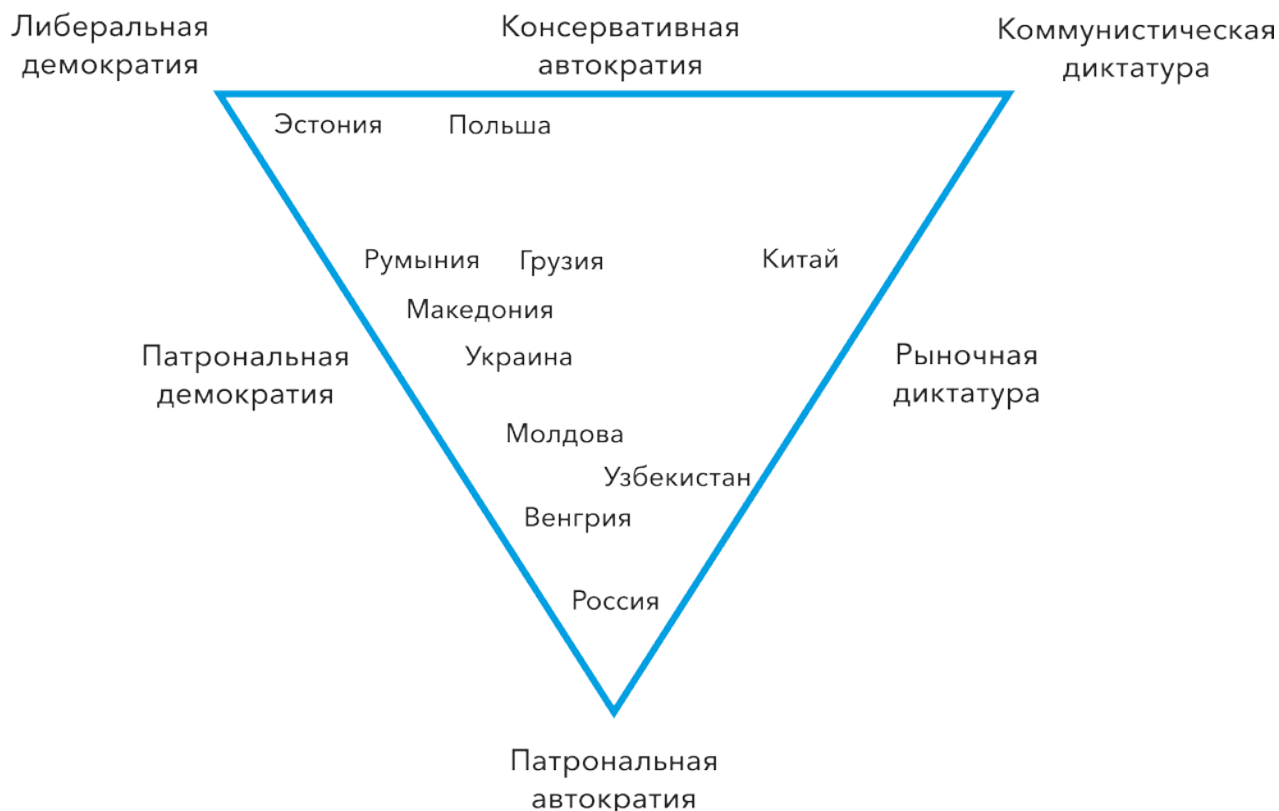


институтах ведет к упрощенным типологиям, которые не описывают всего спектра траекторий посткоммунистических стран. Балинт Мадьяр, помимо традиционной оси «демократия — авторитаризм», вводит еще одну, «вэберианскую» ось, отмеряющую уровень влияния устойчивых социальных структур — уровень патримониализма, или «патрональности»³. В результате получается треугольник, позволяющий построить типологию постсоветских режимов и проследить траектории их эволюции на протяжении трех десятилетий (см. Рис.1).

Помимо трех его вершин — *коммунистическая диктатура*, *либеральная демократия* и *патрональная автократия* — он также определяет место промежуточных форм: *патрональной демократии* (господство патронажных отношений и конкуренция различных патрональных пирамид за господство), *консервативной автократии* (политическая власть частично монополизирована, но рыночные структуры не затронуты монополизацией) и *рыночной диктатуры* (монополия политической партии не затронута, но все большая доля экономики не контролируется административно).

³ Понятие «патрональности» развивает в своей книге также Генри Хейл, подразумевая под ним воспроизведения модели патронажа на микро и макроуровне (Hale H. E. Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective. - Cambridge University Press, 2014).

Рис. 1.



Треугольник позволяет видеть общее и различное постсоветских режимов в разрезе этих проекций и проследить их нелинейные траектории на протяжении трех десятилетий. Так, например, Эстония, Польша и Венгрия осуществили успешный переход от коммунистической диктатуры к либеральной демократии на первом этапе. Однако затем Польша совершила движение в обратном направлении — к консервативной автократии, а Венгрия — в направлении патрональной демократии, а затем и патрональной автократии.

Другая модель транзита характерна для стран, которые никогда не были либеральными демократиями. Для таких стран как Румыния, Северная Македония, Украина, совершивших переход сразу к патрональной демократии, характерна циклическая динамика, которую определяют стремление тех или иных групп закрепить свое господство (перейти к патрональной автократии) и сопротивление этим попыткам. Однако «цветные революции», периодически случающиеся здесь, не разрушают самого принципа патрональности. Россия после периода «олигархической анархии» с приходом Путина трансформировалась в патрональную автократию. Что касается таких стран как Узбекистан, то здесь даже не было олигархической анархии, коммунистическая диктатура трансформировалась непосредственно в патрональную автократию.



Проблематика «устойчивых социальных структур» и «концептуальной (структурной) карты Евразии» отзывалась и в докладе Кирилла Рогова «Электоральная география и посткоммунистические траектории стран бывшего СССР». Уже первые советские альтернативные выборы, состоявшиеся ровно 30 лет назад, продемонстрировали некоторые структурные особенности постсоветского пространства, остающиеся актуальными и сегодня. Главным итогом тех выборов стала доля не избранных депутатами представителей советской номенклатуры. При некоторых важных нюансах, общая картина выглядит вполне прозрачной: продвинутая Прибалтика, консервативная Центральная Азия, а в РСФСР — яркий контраст между активными и «демократическими» крупными городами и глубиной, демонстрирующей «среднеазиатский» тип голосования.

Еще более отчетливой общая картина становится на республиканских выборах 1990 г. Здесь выделяются три группы республик: те, где демократическая оппозиция одержала полную победу (Прибалтика), те, где оппозиция не сумела оказать значимого влияния на исход выборов (республики Центральной Азии, Азербайджан, Белоруссия), и те, где она смогла получить 25 — 55% мандатов, что было недостаточно для победы или позволяло сформировать слабую коалицию. Этот исход во многом определил характер транзита соответствующих стран к постсоветскости в начале 1990х. Более того, практически точно совпадает он и с актуальной типологией постсоветских политических режимов. Это, с одной стороны, устойчивые персоналистские авторитаризмы (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия и Россия), а с другой — «конкурентные олигархии» (Украина, Молдова, Армения, Грузия, Киргизия). Единственная значимая замена — это Россия, формировавшаяся в 1990-е как конкурентная олигархия, но затем осуществившая транзит в первую группу, и Киргизия, перешедшая, наоборот, из первой группы во вторую.

Эта картина демонстрирует, что постсоветские политии активно формировались еще до формального перехода к независимости, а сложившееся в них базовое распределение сил оказалось чрезвычайно устойчивым. Это, впрочем, не означает отсутствия потенциала изменений. Так, например, казалось бы, бесплодная борьба группировок за устойчивое господство в ряде «конкурентных олигархий», очевидно, способствует вызреванию здесь институтов парламентской демократии, примером чего являются Грузия, Армения и Молдова.

Так или иначе, все три доклада, в духе отмеченной Андреем Мельвилем проблематики «реванша структур», оставляя в стороне вопрос о роли акторов, столь популярный в предыдущем аналитическом цикле транзитологии, концентрировались в объяснении траекторий транзита на предпосылках, уходящих даже за горизонт собственно советского социального опыта.

ДРАМА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: СТАРЫЕ НОВЫЕ РАЗМЕЖЕВАНИЯ



Проблема «разочарования Восточной Европы» остро была поставлена в докладе Клары Гайвиц «Длинная тень разделенной Германии: стоит ли все еще стена между Восточной и Западной Германией?» Результаты выборов в Европарламент в Берлине ясно демонстрируют, что поддержка бывших коммунистических партий сосредоточена в Восточном Берлине, а партии Ангелы Меркель — в Западном. Карта результатов голосования по Германии в целом напоминает старую карту двух Германий: в Восточной, прямо по границам бывшей ГДР, доминирует «Альтернатива для Германии», а бывшая Западная Германия голосует за зеленых. Демократия не смогла убедить восточных немцев в своих преимуществах, как следует из опросов: здесь гораздо выше доля не уверенных в ее эффективности и предпочитающих ей «сильное лидерство».

Но карта распределения богатства воспроизводит ту же картину. Несмотря на рост в течение тридцати лет, разрыв в уровне накопленного богатства сокращается очень медленно: в западных землях оно все еще в два с лишним раза превосходит средний уровень Восточной Германии. И если с точки зрения поляков и украинцев, жизненный уровень восточных немцев выглядит весьма высоким, то сами они не испытывают удовлетворения, сравнивая свое положение с Западной Германией. Разрыв в уровне безработицы между двумя частями Германии резко сокращался в последние годы, но этот прогресс отражает не увеличение числа рабочих мест на востоке, а отток населения из восточных земель на запад и юг, где отмечается прирост населения.

Иными словами, вопреки радужным ожиданиям и, казалось бы, формальной успешности восточногерманского транзита, люди, пережившие воссоединение Германий, узнали по итогам 30 лет, что они потеряли и не найдут удовлетворяющую их работу, что их дети уехали искать работу в Западной Германии и что, даже имея работу, они никогда не станут такими богатыми как западные немцы.



Тему восточноевропейской фрустрации продолжил доклад Максима Трудюлюбова «Великие ожидания: чего ожидали и чего не дождались жители посткоммунистических стран».

Восточноевропейские страны ожидали от транзита «возвращения к нормальности» (словами Вацлава Гавела), т.е. мечтали перестать быть частью утопии. Страны Балтии мечтали вернуться на карту Европы.

Но у экономической трансформации была довольно высокая цена: активы Восточной Европы оказались под контролем западных компаний, свобода перемещения обернулась огромным для некоторых стран оттоком граждан, сокращением рабочих мест. В результате возникло новое разделение между Востоком и Западом на месте прежнего. По мысли Ивана Крастева и Стивена Холмса, это разделение между теми, кого имитируют, и теми, кто имитирует ⁴. Это разделение имеет политическое измерение: разное отношение к иммиграции, к экономическому неравенству, к законам. Возникает ситуация «обратной имитации», о которой говорит Виктор Орбан («когда-то Европа казалась нам нашим будущим, теперь мы ее будущее»).

Однако «новый раскол Европы» выглядит преувеличением. Венгрия не является в реальности некой «европейской альтернативой» и следует в фарватере прочих восточноевропейских стран. Речь идет о конкуренции двух моделей в рамках той общеевропейской идентичности, которую определяют знаменитые пять признаков Джорджа Стайнера ⁵. И хотя экономическая цена транзита оказалась высокой и географические контуры Востока и Запада вполне заметны, с этой точки зрения единство Европы укрепилось, идея Европы, как она предстает глазам чужака-иностранца, чувствуется сегодня больше, чем раньше.

Полемизируя с обоими докладчиками, Ральф Фюкс из немецкого Центра современного либерализма в своей реплике подчеркивал, что разделение Востока и Запада Европы — это не только вопрос экономики и распределения собственности, но и культурного и ценностного бэкграунда. Восточная Европа мечтала о возрождении национальной идентичности и пережила революцию, которая была не только демократической, но и националистической. Но у восточных немцев и восточных европейцев были очень разные ожидания относительно того, в какую Германию и в какую Европу они входят. Оказалось, что они входят в Европу, которая имеет дело с феноменом массовой иммиграции и беженцев, мультикультурализмом, гендерной революцией и проч. И это

⁴ Krastev, Ivan, and Stephen Holmes. "Imitation and Its Discontents." *Journal of Democracy* 29.3 (2018): 117-128.

⁵ Steiner G. The Idea of Europe – OpenDemocracy (<https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/idea-of-europ>)

оказалось не совсем той Европой, в которую восточные европейцы собирались «возвращаться». В результате, они оказались вовлечены в разделение внутри самой Европы, которое является не «географическим», но культурно-политическим. Это конфликт внутри европейского сообщества между модернистскими и анти-модернистскими тенденциями. Часть Европы, изможденная быстрыми изменениями последних 30 лет, предъявляет спрос на «стабильность» и «идентичность». И главный вопрос европейской демократии сегодня состоит в том, как совместить открытость к изменениям и разнообразию, и этот спрос — на стабильность и идентичность.

НАЦИОНАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ: НОВАЯ ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Новые повороты в истории посткоммунистических стран меняют обратную перспективу понимания и такой классической проблемы транзита как национализм. В предыдущие десятилетия было принято видеть в антикоммунистическом национализме восточно-европейских стран своего рода образец «демократического национализма» и отмечать преимущества этой «двухсоставной» мобилизации, предотвращающей расколы в процессе транзита. Теперь, в контексте своего рода ренессанса национализма в Восточной Европе, проблема начинает выглядеть несколько иначе.



На этой теме сфокусировал свое внимание главный редактор «Газеты выборча» Адам Михник (Польша) в докладе «Национализм как анти-демократический реванш». Во времена тоталитаризма «национализм» как стремление опереться на национальную традицию и культуру, несомненно, являлся элементом протеста. Но был и другой национализм — тоталитарный национализм Чаушеску, Мао Дзэдуна и Сталина периода «борьбы с космополитизмом». Тоталитарный строй умел оперировать национализмом в своих целях. И ответом на кризис режима, оставшегося после диктатуры Тито в Югославии, стал национализм Милошевича. В Хорватии в ответ формировался этнический национализм, а его лидер Франьо Туджман при коммунистическом режиме успел побывать и генералом, и

националистом-диссидентом.

Национализм нового типа, который мы видим сегодня в Польше, опасен тем, что в новом контексте он стал криптонимом авторитарных, антидемократических тенденций. Чтобы вновь обрести утраченную «идентичность», этому национализму необходимы «враги», и это определяет его стратегии и ценности, его отношение к институтам его врагов и союзников на международной арене.



Разнообразие национализмов поздне-коммунистической эпохи и их роли в траекториях посткоммунистических трансформаций был посвящен и доклад **Николая Митрохина** (Центр исследований Восточной Европы при Бременском университете, Германия) «Поздне-советский национализм: его приход в большую политику и 30 лет трансформации». Национализм, как новая угроза для постсталинской модели «мягкого тоталитаризма», был вполне осознан уже в конце 1960-х гг., о чем свидетельствует записка Л. Брежнева в Политбюро 1968-го г. Несколько факторов способствовали «вызреванию» этой угрозы и той роли, которую сыграл национализм в распаде советского

режима: 1) характерный для СССР имперский централизм, 2) наличие в СССР крупных этнических групп, мечтавших о национальной государственности (в том числе утраченной), 3) наличие в советском административном устройстве «национальных» республик и автономий, имевших декоративные признаки государственности и самостоятельности, что создавало институциональную перспективу их фактического обретения, 4) наличие в республиках и автономиях так называемых «титულных наций» — формально владеющих титулом региона этнических групп, 5) возникновение реальной конкуренции в рамках региона между «титульной нацией» и другими этническими группами за ресурсы (земля, недра, рабочие места, инфраструктура).

Совокупность этих факторов формировала целый спектр национализмов в отдельных регионах. Так, в Молдове существовали, помимо собственно молдавского национализма, румынский национализм, русский национализм (связанный с интересами проживающих на территории иной «титульной нации» русских), гагаузский национализм и проч. Поддержанием порядка в отношениях этнических групп с разным статусом занимался союзный, имперский «центр». Ослабление его легитимности вело к актуализации этих «встроенных» конфликтов.

Манифестация национализма инициируется элитными группами, а либерализация в эпоху перестройки резко расширила возможности националистической пропаганды, также как и обращения националистов к актуальной проблематике — экологии, коррупции и проч. За несколько месяцев элитные про-этнические группы обретали массовую поддержку. Эти процессы и стремление республиканского руководства, состоявшего из представителей «титульной нации», заручиться поддержкой «снизу» создавали угрозу для меньшинств, которые обращались за помощью к союзному центру. Но он уже был не в состоянии ее оказать политическими средствами. В результате, начиналась

мобилизация меньшинств; важную роль в ней играла та легкость, с которой они получали оружие (в основном от военных, находившихся в подчинении союзного центра). В целом, если меньшинства были рассеяны, то они вынуждены были ассимилироваться с процессом строительства национальной государственности, если же они проживали компактно, то вероятность конфликта была очень высока.

Эти доклады и состоявшаяся вокруг них дискуссия продемонстрировали, что тема нуждается в дальнейшем осмыслении. Во всяком случае, было констатировано, что в рамках коммунистических режимов национализм мог выступать как в качестве оппозиционной, анти-коммунистической идеологии, так и в качестве элемента идеологии официальной, а анти-коммунистический, оппозиционный национализм, ставивший своей целью строительство национальной государственности, терял свой демократический субстрат, сталкиваясь в этом процессе с проблемой национальных меньшинств. Тема «национализм и демократия» должна стать одной из центральных на следующей стадии проекта.

СПОРЫ О РОССИИ: УРОКИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



Директор Русского института в «Кингз колледж» Сэмуэл Грин в докладе «Homo post-soveticus: что узнали бывшие советские граждане за тридцать лет», возражая Георгию Сатарову, отметил, что ожидания по поводу транзита вовсе не были изначально столь безоблачны. Однако характер проблем и вызовов действительно оказался несколько иным, чем предполагалось. Основные помехи транзиту ожидалось с двух сторон — со стороны элит и главным образом — населения, которое «не хочет боли». Однако оказалось, что население российских городов, для которых социальная нестабильность транзита стала тяжелым испытанием, в значительной мере адаптировалось к жизни в де-институализированной среде.

Поведенческие стратегии этих жителей не соответствовали ожидаемой модели «homo sovieticus», их определял не спрос на «патернализм», как предполагалось, а наоборот — вынужденный индивидуализм. Вопреки той модели, которую Лев Гудков определил как модель «пассивной адаптации», стратегии «постсоветского человека» выглядят скорее как «агрессивно-неподвижные». Эти стратегии формируются сочетанием вынужденного индивидуализма и принципиального неприятия институциональных перемен, которые подрывали бы или создавали угрозу индивидуальному процветанию и безопасности. Эти черты остаются актуальными и по сей день и проявляют себя в массовом сопротивлении, казалось бы, простым и технологическим реформам — реформе высшего образования, созданию товариществ собственников жилья и проч. Все это, с точки зрения «постсоветского человека», снижает автономность индивида в решении его собственных проблем, принуждает учитывать посторонние мнения и интересы. Так, нежелание уезжать из моногородов проистекает из того, что укоризненность в социальной среде, навык решать вопросы своего жизненного цикла в ней оказывается важнее гипотетического процветания на новом месте.

Но в целом — и это стало неожиданностью — элиты и бюрократия играли в процессе транзита более пагубную роль, чем сопротивление широких слоев

населения. И мы не ожидали такой симфонии интересов масс и коррумпированного, де-институализированного государства. Как не ожидали и возвращения гавеловского лавочника, для которого демонстрация политической лояльности является наиболее удобным механизмом социализации. Однако хорошая новость состоит в том, что эти феномены выглядят не следствием некоей идеологии или приверженности авторитарным и иерархическим моделям социального устройства, но скорее следствием пережитого опыта транзита и реакцией на него, а значит — с изменением социального опыта будут меняться и установки.



В докладе «Экономическая реформа и демократизация в годы перестройки» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге **Дмитрий Травин**, отчасти продолжая линию рассуждений Андрея Рябова, высказал мысль, что механизм де-легитимации коммунистического режима и процессы демократизации в СССР были связаны с теми экономическими проблемами, которые проявили себя в 1986 — 1988 гг., а вовсе не с глубинными политическими процессами и стремлением «стать Европой».

Падение цен на нефть и неудачи первой экономической реформы 1987 — 1988 гг., выдвигавшей в центр принципы социалистического самоуправления, привели к макроэкономической разбалансированности, которая подрывала легитимность власти. В то же время советский истеблишмент не был готов к резким и болезненным действиям, вроде кардинальной реформы цен. Эти «ножницы» в рамках существовавшей политической системы повышали вероятность переворота по модели 1964 г. С этой точки зрения, политическая реформа 1988 — 1990 гг. была не столько механизмом широкой демократизации, сколько попыткой трансформации политической системы, целью которой был выход Михаила Горбачева из-под контроля партийных структур, укрепление его «непартийной» легитимности и формирование нового состава его полномочий (превращение сначала в Председателя Верховного Совета, а затем — в Президента СССР).

В результате, с одной стороны, общество действительно достаточно легко «уступало» завоеванию демократизации, когда выяснилось, что она не решает «проблемы колбасы». Вместе с тем, история российского транзита наглядно демонстрирует один из широко обсуждаемых ныне тезисов исторической социологии: важнейшие социальные изменения происходят не как следствие «планов реформ», но как непреднамеренные последствия этих планов. И хотя развитие событий не вело к тем последствиям, которые планировались, в

результате мы получили некое совершенно иное общество, чем то, что было 30 лет назад.

В этом смысле повсеместный пессимизм в оценках итогов российского транзита, характерный для исследований, в особенности компаративистских, оставляет за рамками своего анализа значительную часть той социальной реальности, которая характеризует современное российское общество, заметил Дмитрий Травин. Рассуждения об «агрессивно неподвижном» постсоветском человеке вступают в противоречие с тем очевидным динамизмом, который присутствует в современном российском обществе, несмотря на несостоятельность и регресс его политических институтов. В социальной реальности сегодняшней России мы видим, в действительности, очень разные группы — крайне активные группы, чья активность является реакцией на новые, подвижные институты (прежде всего — институты рыночной экономики), и «неподвижную агрессивность», которая является реакцией на ригидные и деструктивные институты, которые характеризуют прежде всего политическую систему.



Продолжая тему неканонических моделей и непреднамеренных последствий, профессор НИУ ВШЭ Николай Петров в докладе «Уроки выборов и Первого съезда народных депутатов» обратил внимание, в частности, на то, что порядок выборов «трем колоннами» — от территориальных, национально-территориальных округов и общественных организаций, подвергавшийся в 1989 г. резкой критике как «недемократический», в значительной степени способствовал представительству на съезде «образованного класса», интеллигенции, игравшей ключевую роль в формировании первой легальной «демократической оппозиции».

Первые выборы не только вскрыли географическую дифференциацию электорального пространства, но и способствовали этой дифференциации, создавая островки демократизации и местные демократические традиции. В то же время эта дифференциация, хотя отчасти и сохранилась, существенно отличается в сегодняшней России. Тогда она почти полностью определялась различием «город — село»; сегодня внутри региональная дифференциация выражена слабее, в результате изменилась «зернистость» электоральной географии.

Поражение на первых выборах целого ряда первых секретарей было совершенно неадекватно интерпретировано тогдашним Политбюро. Логика состояла в том, что проиграли «плохие руководители», которых надо заменить на «хороших». В действительности же, поражение определялось не свойствами

первого секретаря, а уровнем политической активности населения данной территории. И точно также выигрывали выборы не лучшие руководители, отзывавшиеся на запрос снизу и потому имевшие поддержку, а те, кто имел ресурсы, чтобы сдерживать социальную активность, подавлять инициативу и консервировать ситуацию в регионе. Там же, где социальная активность была высокой, срабатывал механизм протестного голосования: люди голосовали не за те или иные «позитивные программы», а против «номенклатуры». В итоге, механизм выборов работал не в том направлении, в котором задумывалось, а в значительной мере — в противоположном. В значительной степени эти инверсивные логики полу-авторитарных выборов работают и сегодня на, по сути, безальтернативных выборах в российских регионах. Лучшие результаты губернатора на выборах свидетельствуют об отсутствии социальной динамики.

Первые выборы и Съезд народных депутатов внесли огромный вклад в процесс массовой политизации — миллионы людей следили за Съездом в прямом эфире и персонально прикоснулись к публичной политике, и в этом состояла их важнейшая историческая роль. В то же время, в силу ряда причин Съезд не сыграл решительной роли в формировании новой политической элиты, прежде всего, публичной политической элиты, формирующей представительную власть и партийную инфраструктуру.



С последним тезисом не согласился следующий докладчик — **Сергей Цыпляев**, в 1989-1991 гг. — народный депутат СССР и член Верховного Совета СССР. Политическая реформа 1989-1990 гг. и выборы народных депутатов СССР, а затем РСФСР обозначили уход политической элиты 1920-30-х гг. рождения и приход следующего поколения — 1940-1950-х гг., а многие народные депутаты остались в политической элите на различных должностях в структурах исполнительной власти.

В то же время конструкция Съезда и созданной политической архитектуры была нежизнеспособна. Съезд выступал не как орган законодательной власти и представительной демократии, а как «высший орган власти», «исполняющий обязанности народа». Изначально он мыслился как инструмент «управляемой демократии», однако в условиях развивающегося кризиса управляемость была утрачена. И в новой ситуации конфликт, заключенный в конструкции этого полновластия, был неизбежен, что и проявило себя уже в истории российского Съезда народных депутатов, созданного по той же модели. Сместились и основные «политические повестки»: если в центре повестки Первого союзного съезда стояли вопросы политической реформы и

демократизации, формирования новой системы власти, то затем в центре повесток оказалась борьба за суверенизацию республик.

Ключевой же проблемой российского транзита, по мнению докладчика, стала ущербность политической культуры образованного и управляющего класса. Интеллигенция не смогла представить образцов демократических институций, воспроизводя повсеместно лидерскую модель, ведущую к несменяемости руководителей на всех уровнях.

В дискуссии по докладам участники не раз возвращались к тезису о необходимости переосмысления политического наследия «перестройки». При том, что ее фактические результаты оказались противоположны заявленным целям (полный демонтаж коммунизма вместо «обновленного социализма») именно здесь закладывались базовые элементы новой, пост-тоталитарной политической культуры. На это и, в частности, на роль горбачевской политики



гласности как фундаментального условия социальной и политической динамики следующих десятилетий указал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ошибочность экономических стратегий российского правительства в 1990-е гг. вела, в результате, к подрыву демократии и демократических ценностей, а это, в свою очередь — к сворачиванию свободы слова, считает Явлинский. Но именно политика гласности открыла то окно возможностей, которое российские элиты не сумели использовать.

Директор «Горбачев-Фонда» Ольга Здравомыслова также отметила, что именно те элементы новой политической культуры и новых политических идеологий, которые были сформированы в периоде «перестройки», обеспечили возможность в целом мирного демонтажа коммунистической системы в СССР и Восточной Европе, что совсем не выглядело безальтернативным и даже наиболее вероятным сценарием. Продолжая затронутую Дмитрием Травиным тему «непреднамеренных последствий», Георгий Сатаров уточнил, что политики, которые приводят к непреднамеренным, но позитивным последствиям — это, как правило, политики «неделания» чего-то, политики, снимающие рестрикции, иными словами, либерализационные политики, которые и открывают определенный спектр возможностей для саморегулируемых процессов.

ТРАНЗИТ КАК ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ: УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



В ремарках к докладам, и в особенности адресуясь к докладу Балинта Мадьяра, **Ральф Фюкс** отметил, что модель, в которой формируется единый институт власти и собственности, определяет характер большой группы постсоветских государств. Причем, эта модель выглядит и презентует себя сегодня не как девиация на пути движения к либеральной демократии, но как конкурентная альтернатива ей. И конкуренция разных моделей вновь сегодня, как тридцать лет назад, оказалась на повестке дня. Смешение и единство политической власти и власти рыночной — ключ к пониманию этого типа режимов, определяющий не только их внутренний порядок, но и внешнеполитические

устремления, что пока недостаточно обсуждается.

Лидером этой новой глобальной конкуренции выступает Китай, считает **Ральф Фюкс**. В отличие от России, которая сегодня выглядит более агрессивным оппонентом Запада, но в действительности не имеет успешной экономической стратегии и является рентной экономикой, Китай являет собой гораздо более серьезный вызов, успешно совмещая тоталитарный контроль и динамизм инновационной экономики и предлагая в качестве альтернативы либеральной демократии рецепт процветания и стабильности без демократии.

Собственно, это тема оказалась одной из центральных во всей дискуссии, так или иначе связывая разные ее части — тему «разочарования Восточной Европы», переосмысление типологии посткоммунистических режимов и роли национализма в процессе транзита, а также лакун социального знания как источника завышенных ожиданий.

Центральными темами российской части дискуссии оказались, во-первых, полемика о ригидности и неподвижности социальных и политических структур, с одной стороны, и продолжающихся процессах социальной модернизации, с другой. А во-вторых, осмысление наследия периода начальной либерализации, связанной с именем Михаила Горбачева, и ее вклада в историю российской политики.

В целом же, как заметил в одной из заключительных ремарок **Аркадий Дубнов**, специфика изучения транзита определяется, прежде всего, тем обстоятельством, что транзит — длинный транзит — продолжается и его новые повороты меняют наши представления о значимости тех или иных развилок его предыдущих этапов. **Евгений Гонтмахер**, член Координационного совета Экспертной группы «Европейский диалог», развивая эту мысль, предложил «заглянуть в будущее транзита» — обратить внимание на формирующееся и в Восточной Европе, и в странах бывшего СССР, прежде всего, Украине и России, новое политическое поколение, которое уже выходит и окончательно выйдет на сцену в следующем десятилетии.



Помимо того, что оно никак не связано с коммунистическим прошлым, которое все еще форматирует систему представлений многих из ныне действующих лидеров, оно выдвигает иную систему ценностных приоритетов, связанных с его опытом и средой, это поколение формировавшей, в том числе — информационной средой. Среди этих ценностных приоритетов — ценности самоуважения, достоинства, справедливости, отторжение иерархий и «вертикальных» отношений подчиненности. В Польше и Венгрии старая элита цепляется за власть, используя популистские, консервативные и архаичные лозунги, мобилизуя вокруг себя тех, на кого пришлись поздние годы коммунизма и наиболее трудные фазы транзита. Но ее уход неизбежен, а следующее поколение будет продвигать новые ценностные ориентиры и новые повестки, отмечая опыт и лозунги своих предшественников.

Таким образом, в целом, конференция показала, что проблематика посткоммунистического транзита, во-первых, нуждается в переосмыслении в контексте тех новых исторических поворотов и социальных процессов, которые характеризуют его новые стадии, а во-вторых, в значительной мере является ключом к адекватному пониманию этих процессов и связанных с ними вызовов, стоящих перед Большой Европой и постсоветскими странами. В отличие от предыдущей стадии осмысления транзита, оперировавшей «нормативными» представлениями о его ожидаемых «правильных» результатах, новая стадия в гораздо большей степени сосредоточена на фактических социальных практиках, нежели на формальных институтах. Их анализ позволяет более адекватно понимать и объяснять природу посткоммунистических обществ и политических режимов, выстраивать многомерные типологии, позволяющие объяснить нелинейную динамику их посткоммунистических траекторий. Особого внимания и

глубокого переосмысления требуют проблемы «национализм и демократия», регионального многообразия и многообразия идентичностей, которые могли бы оказаться в центре обсуждения на следующей стадии проекта. Транзит продолжается, но теперь он продолжается, являясь одновременно не только историей посткоммунистических стран, но частью общей истории Большой Европы.